

# Перед «суперконцертом» в стенах Кремля

Это интервью с Евгением Евтушенко, как ни странно, было взято в Америке; оттуда Евгений Александрович поедет на Франкфуртскую книжную ярмарку представить свою новую книгу и буквально с нее, с самолета, появится к шести вечера 11 октября на сцене Кремлевского дворца — на собственном юбилейном вечере «НЕТ ЛЕТ».

— Поэт — человек на все времена, хотя и его обижают неправильно понимание, травля или что похуже — забвение и равнодушие.

— Не стоит возводить обиду на травлю или на забвение и равнодушие только в привилегию поэтов. Людей, которые «не обижаются» на травлю, нет. Сахаров был для меня чем-то вроде поэта. Его поэзией была совесть, которую он никогда не предавал с той поры, когда осознал, каким ужасом может обернуться то, чему он посвятил предыдущую свою жизнь. Сахаров был поразителен тем, что старался «не обижаться». И когда его затоптывали, засвистывали на парламентской трибуне еще до того, как он успевал сказать первые слова, он терпеливо продолжал разъяснять такие кажущиеся сейчас элементарными истины, что войну надо немедленно кончать, что однопартийная система — это тормоз развития общества, когда даже у бездарных членов партии есть преимущества в сравнении с талантливыми беспартийными. Он никогда не платил оскорблениями за оскорбления, если его называли антипатриотом, пособником империалистов, а с добросовестностью учителя пытался объяснить своим оскорбителям, как непонятливым жестоким детям, что они не правы. Лишь однажды он, чуть не застав, вскинул два кулака над головой с лицом распинаемого мученика. Это была живая великая скульптура. Железных людей на самом деле нет. Если бы не все эти дорогостоящие «победы над обидами», он бы еще долго жил. Пастернак по отсутствию ненависти к тем, кто ненавидел его, был тоже на самом деле не железным. Он не отругивался, не отлаивался от этих идеологических овчарок — он их жалел.

Я знаю — вы не дрогнете, сметая человека.

Что ж, мученики догмата, Вы тоже жертвы века.

— Вы можете рассказать о своей позиции поэта? Что вы открыли для себя в этом мире, что поняли?

— Я учился никогда не отвечать на подлости подлостью и у этих двух моих учителей, и у многих незначительных, но прекрасных людей, первая из которых — моя мама. Когда Пастернак мне рассказывал, как к нему пришли двое молодых поэтов «посоветоваться», подписывать ли им письмо студентов Литинститута, чтобы лишить

его советского гражданства, а он разрешил им подписать, чтобы их не исключили из института, он прежде всего обвинял себя в том, что он разрешил им предательство и что теперь они никогда не будут поэтами. Так оно, кстати, и случилось. Их поэтические способности испарились. Каждый человек, конечно, в каком-то смысле эгоист. Но подлости не надо делать, хотя бы из эгоизма. Человек, делая подлости, подписывает сам приговор всему лучшему, что в нем еще есть, — оно начинает съезживаться, исчезать. А уж для поэта это смертельно тем более.

Привирать, то есть фантазировать, — это опасно, это я себе иногда позволяю, когда скучно, а вот обогатить кого-то — это для меня табу. Когда-то незря написал самому себе в памятку: «Но самосохранения инстинкт не сохраняет нас, а убивает». Этот инстинкт нельзя совсем терять, но нельзя позволять, чтобы нами правил он, а не мы им. Есть инстинкт самосохранения животных, а есть инстинкт самосохранения духовный, то есть совесть. Как сказал Володя Соколов, «нет школ никаких — только совесть». Я понял раз и навсегда, что плохой человек не может быть хорошим поэтом. Но бывает и так, что хороший поэт становится плохим человеком, и тогда ему как поэту — конец.

За словом «исписался» всегда стоит «изолгался». Прозаик еще может спрятаться в дебрях какой-нибудь запутанной прозы, а вот у поэта так не получится. Он должен быть весь как на ладони со всеми своими детством, первой любовью, первыми разочарованиями, со всеми грехами, метаниями, надеждами. Без личной исповеди нет поэта. Но большой поэт должен написать не только себя, но и тех, кто сам себя написать не может. Я всегда хотел быть поэтом, который мог бы быть понятным любому подзаборному пьянице и не казаться примитивным самому набообразованнейшему человеку. На моих выступлениях видел и рыбаков Дальнего Востока, и шахтеров Донецка, и бетонщиц Братска, и Шостаковича, и Капицу, и Ландау. 11 октября в шесть часов я опять выйду на сцену Кремлевского дворца. По замыслу это должен быть «суперконцерт». Не стесняюсь этого слова, ибо это будет концерт не только мой, но и музыки Шостаковича на мои слова, и двух великолепных ди-

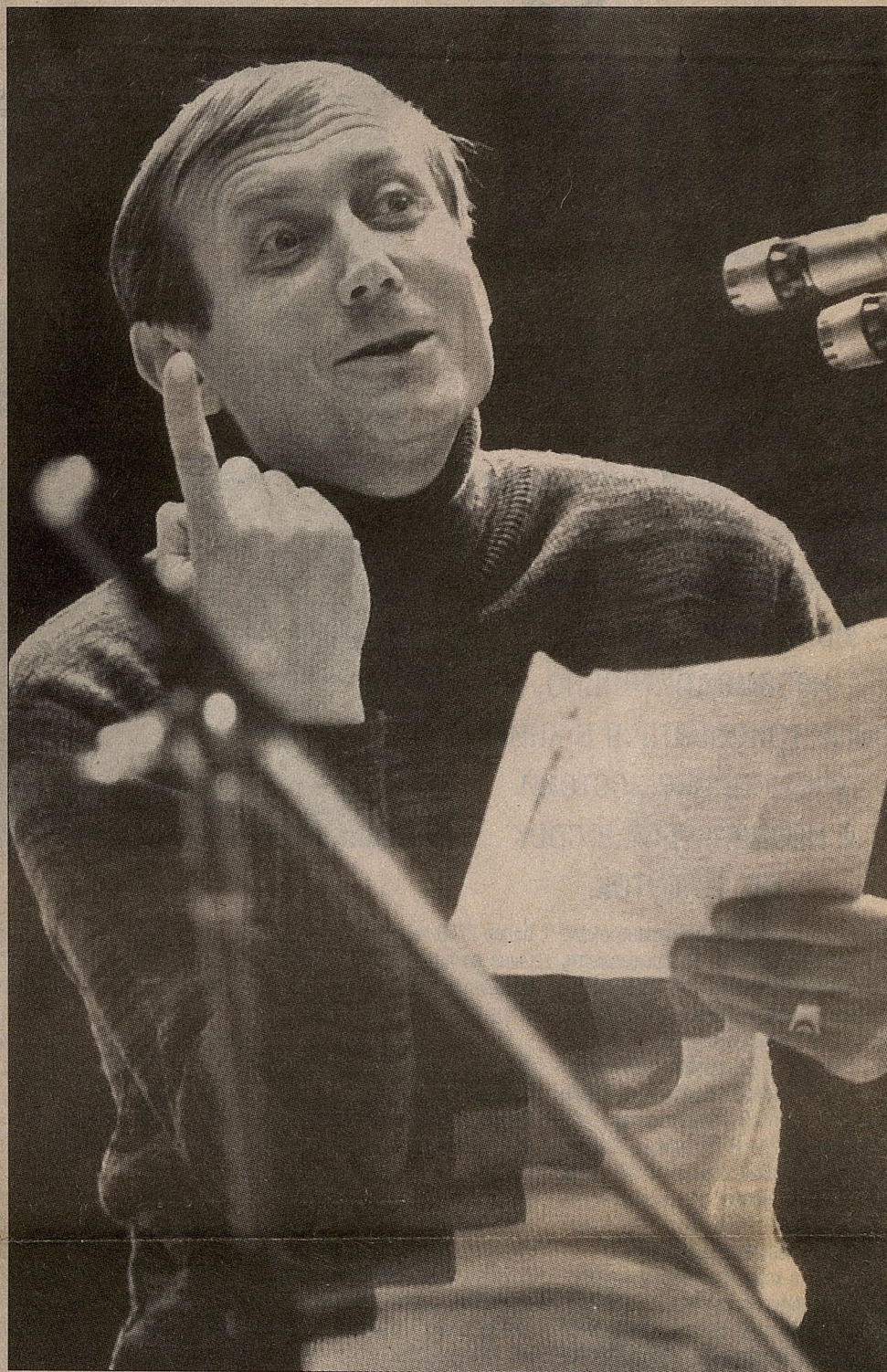
рижеров — нашего красавца казачка, похожего на Григория Мелехова, — Валерия Полянского, и на редкость взрывчатого американца Франца Крагера, и красавицы Ларисы Юдиной, с которой я буду петь дуэтом, и всегда неожиданного Задорнова. Многие знают, какой он острый сатирик, но я-то знаю, какой он чуткий друг. Люди в зале наверняка будут разные и по возрасту, и по профессии, но я надеюсь, что и музыка, и стихи их объединят, сделают одним целым. Я очень волнуюсь, и я знаю, что Миша тоже. Если мы привыкаем, то незачем выходить на сцену.

— Люди — хорошие существа?

— Я был в 94 странах. Большинство — да. Но подонки — увыл! — лучше организованы. Поэзия должна помогать людям понять и что лучшее в них, и что худшее.

— Грядут выборы. Такой человек, как Арнольд Шёнберг, неоднократно предостерегал своих коллег от любых контактов с властью, говоря, что любая идеология ложна и блудлива.

— Насчет того, что любая идеология ложна и блудлива, — согласен. Почему? Да потому что идеалы и идеология есть вещи несовместные, как гений и злодейство. Коммунизм, бывший романтическим отдаленным видением идеалистов, был притягателен для всех угнетенных. Он впитал в себя многое из христианства. Но когда в идеологию стали насильно загонять, как в клетку, люди его стали ненавидеть — сначала тайно, а потом это вырвалось наружу. Идеология — убийца идеалов. Но что такое власть? Это люди, а люди всегда разные. Когда я увидел в роли и.о. агитации и пропаганды Александра Яковлева, который и в брежневские времена помогал нам, писателям, бороться с цензурой, я, почти потеряв надежду, снова ее обрел. Горбачев, став генсеком, практически легализовал главную, когда-то казавшуюся еретической мысль романа «Доктор Живаго» о том, что вечные человеческие ценности выше классовой борьбы. Мы, писатели, не должны отворачиваться от власти, должны помогать ей, когда она делает добрые дела, и не позволять ей делать дела злые. Одно из злых дел — это нераскрытие стольких преступлений, включая такую гигантскую аферу, как дефолт 1998 года. Одно из других злых дел — это равнодушие.



Есть, кстати, цензура равнодушием. В связи с делом о попытке выселения достойного журнала «Новое время» кто-то с невеселым остроумием определил это как «цензура выселением». А в регионах не только выселяют, но избивают и даже убивают журналистов. Пора, чтобы наш президент сказал свое слово по этому поводу.

— Да, ты можешь быть гражданином своей страны. А можешь быть гражданином мира. Кто вы, Евгений Александрович?

— Сейчас все взаимосвязано. Не только можно, но и необходимо чувствовать себя и гражданином своей страны, и гражданином всего мира. Такое двойное гражданство должно быть всеобщим. Но нельзя полюбить мир, не любя своей родины.

— Я даже в рамках этого интервью хочу поучиться у вас, мною движет любопытство, а отнюдь не желание декларировать через вас свои заранее заготовленные идейки. Но все же такой пример: архитектор Фриденсрайх Хундертвассер говорил, что главное в доме — окна (пустоты), композитор Джон Кейдж, исполнял знаменитое 4'33'', ни разу не прикоснувшись к клавишам рояля. Они оставляли нетронутым, девственным то творческое пространство, в котором живет Бог. Окружали это про-

странство по-своему: Хундертвассер высаживал на крыше своих зданий лес, а Кейдж... В чем для вас живет Бог, где он появляется?

— В людях... Когда выступаю, я всегда ищу в зале те глаза, из которых он смотрит.

— И вы всегда такие глаза находите?

— Всегда.

— Вы завидуете тем, кто ушел, вы ждете той жизни, готовы к ней?

— Я чувствую, что я еще недостойн умереть, я не все сделал, что могу. Те, кто там, могут меня столкнуть обратно на землю — давай-давай обратно, ты еще столько недоделал...

— Почему пожилому человеку так ясно и отчетливо вспоминаются именно детство, самые ранние годы? Неужели после уже не бывает той чистоты и нежности?

— Я не знаю, о чем вспоминают пожилые люди. Я таким себя не чувствую. А вы знаете, моему, все до конца жизни где-то внутри чувствуют себя девочками и мальчишками. Кто это сказал — «Нет лет...» Вроде бы Евтушенко? А сколько ему лет? Не знаю и знать не хочу. Пусть погуляет еще на свадьбах всех своих пяти сыновей. Пусть пишет хорошие стихи, романов пять еще отгрохает, поставит еще парочку фильмов. Он даже, кажется, сейчас петь начал, и в Кремлевском дворце с мо-

лодой мариинской звездой дуэт хочет закатить. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы... лишь бы не старело... лишь бы не умирало.

— Было время в вашей жизни, когда вы сидели абсолютно без денег, и как же удавалось выкрутиться?

— Да, было это много раз, но я то арбузы ночью перегружал на Москве-товарной, то выдумывал историю, что у меня есть знакомая машинистка, очень нуждающаяся в работе, а когда плохие поэты мне давали для нее стихи в перепечатку, я до одурения шамалал по клавишам по ночам...

— Женщина... Ради нее можно бросить все, порвать со всеми своими убеждениями? Любовь перекрывает любое творчество?

— Когда мне предложили баллотироваться в Думу и, кроме того, уговаривали быть министром культуры, моя жена Маша сказала: «Ты уже был депутатом, а я — женой депутата. Для изучения политики изнутри эксперимент достаточный. Если ты снова станешь депутатом, я сяду на поезд и уеду навсегда в мой Петрозаводск. Я выходила замуж не за депутата, не за министра, а за поэта». Я покорился. Я знал ее твердый северный характер. Спасибо ей, что она меня от этого спасла.

Беседовал  
Ян Смирницкий